

*Посвящается моей матери и моему отцу*

— Есть партийный лозунг относительно управления прошлым <...> «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — <...> повторил О’Брайен. — Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности? <...> Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? <...>

— Нет.

— Тогда где оно существует, если оно существует?

— В документах. Оно записано.

— В документах. И...?

— В уме. В воспоминаниях человека.

— В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

*Джордж Оруэлл. 1984<sup>1</sup>*

Такого рода красочные описания военных игр и государственных мероприятий во всей совокупности мемуаров составляют, так сказать, кульминационные пункты истории, слепо плетущейся от одного несчастья к другому. Летописец, который присутствовал при событии, еще раз переживает то, что он видел. Он записывает свой опыт на собственном теле, совершая акт членовредительства. Эти записи делают его типичным мучеником того, на что обрекает нас Провидение, он уже при жизни лежит в гробу своих воспоминаний. Восстановление прошлого с самого начала ориентировано на день избавления...

*Вингфрид Зебальд. Кольца Сатурна<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Голышева.

<sup>2</sup> Перевод Э. Венгеровой.

# Список иллюстраций

Рис. 1. Группа коммунистов на Всероссийском съезде Советов в 1918 году.

Рис. 2. Рассказчики революции: красногвардейцы в Смольном, октябрь 1917 года.

Рис. 3. «Красные похороны» в Москве, ноябрь 1917 года.

Рис. 4. Автомобиль «Красной газеты» в Петрограде на праздновании первой годовщины Октябрьской революции.

Рис. 5. Сценические декорации к «Взятию Зимнего дворца» Н. Н. Евреинова, 7 ноября 1920 года.

Рис. 6. Взятие Зимнего дворца, 7 ноября 1920 года.

Рис. 7. М. С. Ольминский.

Рис. 8. П. Н. Лепешинский.

Рис. 9. М. Н. Покровский, И. И. Ходоровский и А. В. Луначарский на XV съезде РКП(б), 1927 год.

Рис. 10. Делегаты Второго Всероссийского съезда архивных работников, 1929 год.

Рис. 11. Е. М. Ярославский и С. Н. Савельев в Музее Октябрьской революции, Москва, 1928 год.

Рис. 12. Демонстрация в Петрограде, посвященная 25-й годовщине создания РКП(б), 1923 год.

Рис. 13. Революция начинается: В. И. Ленин на Финляндском вокзале (кадр из к/ф «Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн, 1927 год).

Рис. 14. Призрачная власть: пустые пиджаки министров Временного правительства (кадр из к/ф «Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн, 1927 год).

Рис. 15. Марианна борющаяся: последний бой матери (кадр из к/ф «Мать», реж. В. И. Пудовкин, 1927 год).

Рис. 16. Неудавшийся штурм: убитые забастовщики (кадр из к/ф «Стачка», реж. С. М. Эйзенштейн, 1924 год).

Рис. 17. Революционная сдержанность: солдаты терпеливо ждут приказа о начале штурма (кадр из фильма «Конец Санкт-Петербурга», реж. В. И. Пудовкин, 1927 год).

Рис. 18. Штурм Зимнего дворца (кадр из фильма «Конец Санкт-Петербурга», реж. В. И. Пудовкин, 1927 год).

Рис. 19. Женский батальон смерти защищает Зимний дворец (кадр из к/ф «Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн, 1927 год).

Рис. 20. Штурм Зимнего дворца (кадр из к/ф «Октябрь», реж. С. М. Эйзенштейн, 1927 год).

# Предисловие

Всю мою жизнь я со страстной энергией оживлял ту или иную часть былого...

*Владимир Набоков. Память, говори (1967)*

В 1984 году судья, рассматривавший дело о клевете, связанное с трагедией в Аберфане, отметил: «Слово “Аберфан” уже вошло в языковой обиход и не требует объяснений». Он был, конечно, совершенно неправ. Это событие имеет культурную специфику, и *требует* пояснений для тех, кто находится вне определенных культурных рамок. Аберфан — одно из моих самых ранних воспоминаний о важном историческом событии. Меня не было на месте катастрофы, я был дома, на юге Англии, и, как и все остальные, за исключением небольшого числа людей, проживал все происходящее через средства массовой информации. По мере того как я сознательно возвращаюсь к воспоминанию об Аберфане, оно постепенно становится для меня основополагающим воспоминанием о важном историческом событии. Когда же я делюсь этим личным воспоминанием с другими, их впечатления зависят от моих навыков рассказчика, от выбора и особенностей стиля, передаваемых эмоций и тона. Мои американские знакомые никогда не слышали об Аберфане, не считая одного человека, который вырос в угледобывающем регионе Пенсильвании и был знаком не с конкретным событием, а с ему подобными.

Итак, в 09:15 утра в пятницу 21 октября 1966 года промокший под проливным дождем отвал породы накрыл сначала фермерский дом, похоронив всех находившихся внутри, а затем и здание начальной школы в валлийской деревне Аберфан, убив 116 детей

и 5 учителей. Мои воспоминания об Аберфане не зависят ни от физической близости к этому событию, ни даже от способности восстановить в памяти подробности. На самом деле я смог вспомнить лишь немногие из вышеперечисленных деталей и обратился к письменным отчетам, чтобы освежить — и укрепить — свою память. Моя память опирается на впечатления, образы и отчеты, и все они — часть процесса опосредования, который никогда не прекращается. В то время посредниками для моей личной памяти выступали местные власти, пресса, выжившие, семьи жертв. Все они находили в трагедии разные смыслы. Происшествие в Аберфане — это одновременно и неминуемое стихийное бедствие, и предотвратимая техногенная катастрофа, и разоблачение несправедливой классово-системы Британии, и история всепоглощающей трагедии, смягченной отдельными проявлениями героизма и самопожертвования, и даже легенда о предвидении, что добавило произошедшему элемент мистического фатализма. На мои воспоминания также повлияло то, что мне тогда было 11, то есть я был близок по возрасту к погибшим детям. Для меня Аберфан — это серия мрачных черно-белых кадров по телевизору, который я смотрел в кругу семьи; это натянутые и неловкие разговоры с друзьями и учителями; это живые эмоции родственников-горняков с севера Англии, и даже, возможно, часть менее оформившегося, но коллективного британского опыта. Конечно, сейчас мои воспоминания проходят через фильтр накопленного жизненного опыта и нынешнего, а не детского, взгляда на мир. Тем не менее все это несколько не умаляет мое плохо сформулированное, но глубоко прочувствованное переживание аберфанской трагедии. Когда я возвращаюсь к катастрофе, она *возвращает* меня в то время и в то место.

На первый взгляд может показаться, что мои воспоминания об Аберфане имеют мало общего с Октябрьской революцией. Но общества, как и люди, самоопределяются за счет историй, которые они рассказывают о себе и о своих корнях. И, как и люди, общества конструируют эти истории в процессе повествования. Мои воспоминания об Аберфане интересны с точки зрения процессов, в результате которых была создана память о них — как

настоящая, так и мнимая, своего рода миф. Эта книга посвящена созданию более масштабного мифа — мифа об Октябрьской революции в России. В отличие от Аберфана, Октябрь действительно вошел в языковой обиход, возможно потому, что охватывал более широкие культурные рамки. Однако, как и в случае с Аберфаном, сложные процессы опосредования памяти об Октябре и его превращения в событие культурной, политической и личной значимости все еще требуют объяснения. В этом смысле обращение к моим воспоминаниям об Аберфане имеет много общего с обращением жителей России к воспоминаниям об Октябрьской революции.

Я вынашивал идею этой книги много лет. За все это время многие поучаствовали в ее создании и внесли свой вклад разными способами. Мне бы хотелось поблагодарить Янни Коцониса за дружбу и непрерывную академическую поддержку этого проекта. Возможность обменяться идеями с ним и Питером Холквистом в Колумбийском университете мне очень помогла, — я в долгу перед обоими за их дружбу и идеи. Мой подход к истории был сформирован целым рядом непростых курсов в Колумбийском университете. Требовательные семинары Леопольда Хеймсона были во время моей учебы мне по плечу; я только сейчас понимаю, что наши порой трудные беседы во многом определили создание этой книги. Ричард Уортман познакомил меня с радостями и муками историографии и также неосознанно помог заложить основу для этого исследования. Благодаря Марку фон Хагену я понял, насколько важно задавать материалу *правильные* вопросы. Эдвард Кинан преподавал мне другой полезный и обескураживающий урок — о том, что все источники обусловлены конкретными обстоятельствами и ненадежны, но из-за этого и еще более интересны. На замечательном семинаре Стивена Коткина в 1991 году я вышел за рамки российской и советской истории. Он раньше меня понял, какое направление примет моя работа, и я благодарю его за щедрую поддержку и вдохновение на протяжении многих лет. С Джеффри Оликом и Фитцем Брандиджем я имел удовольствие обсуждать самые

разные темы, связанные с памятью, и их мысли оказались мне очень полезны. Я искренне благодарю каждого из них.

Созданию этой книги также способствовали (частично или полностью) внимательный академический взгляд и помощь Фрэн Бернштейн, Дэвида Хоффмана, Надежды Муравьевой, Кэти Непомнящей, Дэна Периса, Кена Пинноу, Дэйва Спейдера, Чака Штайнведеля, Марии Тодоровой, Майкла Цина, Амира Вайнера и Луизы Уайт. Последние главы были подвергнуты критической оценке Майкла Горэма и от этого только выиграли. Я благодарен ему за это, а также за многолетние обсуждения наших научных областей, как и за его дружбу. Кроме того, я в особом долгу перед Дональдом Рали за его щедрые и конструктивные замечания в качестве «анонимного» читателя моей работы в издательстве Корнеллского университета; перед моим редактором в Корнелле Джоном Акерманом за его прекрасную критику; перед Джоном Реймондом за тщательную правку окончательного варианта рукописи. Я также хотел бы поблагодарить Джуно Пфайффер и Юрия Бухштаба из Russian Archives Online и Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске за помощь в получении разрешения на использование архивных фотографий, а также Джоан Нойбергер, Ричарда Тейлора и Гжегожа Цеслевского за советы по подбору кадров из кинофильмов.

Выражаю глубокую благодарность семье Ратич за неослабевающую щедрую поддержку моей научной карьеры. Я многим им обязан. И в особенности я благодарю свою жену Кэролайн за то, что она питала меня любовью, поддержкой и здравомыслием на протяжении всех этих долгих лет. Без нее, а также без наших дочерей Сары и Рейчел эта книга просто не была бы написана.

Мое исследование получило щедрое финансирование и поддержку от ряда учреждений, которые я рад отметить: это Национальный фонд гуманитарных наук (NEH), Национальный совет евразийских и восточно-европейских исследований (NCEEER), Совет международных научных исследований и обменов (IREX), программа Фулбрайта — Хейса, Институт имени Гарримана при Колумбийском университете, исторический факультет Университета Флориды и Летняя исследовательская лаборатория по



изучению России, Восточной Европы и Евразии в Иллинойском университете в Шампейн-Урбане.

Часть главы 1 вышла под названием «Нарративы Октября и проблема легитимности» в книге «Russian Modernity: Politics, Knowledges, Practices» [Corney 2000], и перепечатывается с любезного разрешения издательства «Palgrave Macmillan».

Даты до февраля 1918 года даются по старому стилю: юлианскому календарю, который отставал от западного на 13 дней. После этого даты даются по принятому западному календарю. Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году и в Ленинград — в 1924 году. Мое употребление этого топонима отражает эти изменения.

При цитировании газет указано название, год и дата выхода. Если специально не оговорено иное, речь идет об информации, помещаемой на передовицах.

# Введение

## Описание события

Кризис не просто имел свой язык, но, по сути, кризис и был языком: именно речь в некотором смысле сформировала историю.

*Ролан Барт о студенческих беспорядках  
в Париже в 1968 году*

«...Я рассказываю небылицы о большевизме... — писал воевавший в Галиции в 1920 году молодой красногвардеец Исаак Бабель, — и я увлекаю всех этих замученных людей» [Бабель 2006: 261]. Истории, которые государства рассказывают о своих истоках, — это всегда в некотором роде небылицы. В конечном итоге они могут стать либо частью традиции или наследия страны, ее основополагающим нарративом, либо отвергнутой иллюзией — или, словами Бориса Пастернака, «выдумкой» с ее «бесчеловечным владычеством» [Пастернак 2004: 503]. Но в любом случае, как намекал нам Бабель, эти инструменты будут обладать значительной властью и для рассказчика, и для слушателя. Мощные основополагающие нарративы настолько глубоко проникают в человека, что становятся неразрывно связаны с его идентичностью, опытом и воспоминаниями. Такие сильные переживания, как национальное самосознание, ностальгия по прошлым достижениям страны и даже готовность бороться за основные ценности или «дух», воплощенный в государстве, часто порождаются сложными процессами. Основополагающий миф успешен лишь в той мере, в какой он способен вовлечь в свою историю человека. В лучшем случае слушатель становится рассказчиком, передавая основные элементы легенды сознательным и бессознатель-

ным образом, — ведь акт повествования включает в себя пересказ личного опыта как *зависимого* от основополагающего мифа. А что может быть правдивее, задается вопросом историк Джоан Скотт, «чем рассказ самого субъекта о том, что он или она пережили»? Индивидуальный опыт участия в основополагающем событии проникает глубоко в душу человека, и «искусственная природа» такого опыта со временем забывается [Scott 1991: 777].

«Рассказы об Октябре» исследуют именно такое проявление политической и культурной власти в первое десятилетие существования Советской России. Это рассказ о том, как создавались рассказы об Октябрьской революции 1917 года. Книга состоит из двух частей. В первой рассматривается представление Октябрьской революции в период с 1917 по 1920 год, когда революционеры всех видов — не только большевики — использовали официальные публичные церемонии и торжества, чтобы донести до населения эстетическую и драматическую суть Октября. Вторая часть прослеживает, как с окончанием Гражданской войны (1918–1921) акцент сместился с театрализации Октября на его институционализацию как элемента исторической памяти в течение 1920-х годов. Становление нарратива революции в эти годы сопровождалось масштабной государственной программой по созданию институтов и организаций, призванных усилить и закрепить его место в новом режиме. В результате довольно свободный (хоть и ограниченный заранее написанным сценарием) процесс создания истории Октября стал строже контролироваться «сверху».

Каждая часть книги завершается описанием ключевых моментов, в которые Коммунистическая партия Советского Союза (в те годы носившая название РКП(б), затем — ВКП(б) и позднее КПСС) и советское государство решили затратить значительное время и ресурсы процесс мемориализации революции. В 1920 году празднование третьей годовщины Октября стало попыткой советского правительства найти «свою Бастилию», то есть свести революцию к единому трансцендентному событию; в 1927 году во время празднования десятилетнего юбилея революции все усилия были брошены на то, чтобы окончательно утвердить со-

зданное повествование. Построение и институционализация истории Октября также зависели от способа рассказывания более ранней истории — повествования о событиях 1903–1917 годов. Таким образом, по мере того как события октября 1917 года перестраивались в нарратив революции, они также снабжались дореволюционной родословной. Включение в исторический нарратив дореволюционного периода представляло Октябрь как кульминацию революционного движения, естественным образом развившегося в Российской империи и направляемого сознательным революционным агентом — организованной и вдохновленной партией большевиков.

Создание нарратива Октябрьской революции было развернутым процессом как созидания, так и подавления инакомыслия. Этот процесс не был ни стройным, ни эффективным, а, скорее, настойчивым и творческим — порой жестоким, порой даже элегантным. Революционеры стремились рассказать понятную и однозначную историю революции, несмотря на то что создание этой истории было обусловлено проблемами, событиями и людьми, влияние которых они не могли предсказать. Таким образом, рассказ об Октябре — это еще и история о пределах повествования. Тем не менее успех этого нарратива, ставшего фундаментом большевистской России, зависел от его способности вовлечь в рассказ широкие слои населения, что создало множество возможностей для отдельных людей пережить Октябрь и как личное, и как историческое событие. В заключении рассматриваются некоторые из таких возможностей.

### Основополагающие мифы

Успешные нарративы об основании государств нередко сопровождают сложные отношения между правителями и управляемыми. Например, критика империалистической политики Великобритании стала неотъемлемой частью отношения к истории страны, но упоминания империи, хотя и не вызывают больше оголтелого шовинизма у значительной части британского населения, как это было в конце XIX века, все еще могут породить

ностальгию по идеализированному и романтизированному прошлому. Германия и Франция решительно осуждают нацистскую диктатуру и коллаборационизм режима Виши, но в то же время продолжают защищать образы немецкой или французской идентичности, представленные в основополагающих мифах этих стран<sup>1</sup>. Немногие государства, даже послевоенная Германия, учитывая глобальное осуждение ее нацистского прошлого, чувствуют необходимость отречься от всей своей истории.

Недавние исследования основополагающих нарративов, или мифов, подняли важные вопросы о том, как использовавшиеся в них термины и категории определялись социальными, политическими и культурными убеждениями их создателей, будь то иностранные завоеватели или местные политические деятели<sup>2</sup>. К примеру, новаторские исследования, на протяжении двух столетий воссоздававшие идеологию, политику и культуру Французской революции, перевели внимание с события как такового на сложный процесс его становления в качестве основополагающего нарратива современной Франции<sup>3</sup>. Архивы и хранящиеся в них документы из беспристрастных источников непосредственного и уникального знания о прошлом превратились в главные инструменты элиты для производства истории [Trouillot 1995]. Язык стал инструментом не столько описания

---

<sup>1</sup> «Спор историков» (Historikerstreit) середины 1980-х годов как раз и был посвящен тому, какие истории немцы могут рассказывать о себе и истории своей страны; см. [Baldwin 1990; Knowlton, Cates 1993: 17]. О режиме Виши и французской идентичности см. [Rouso 1991].

<sup>2</sup> Существует мнение, что священники и конкистадоры позднесредневековой Иберии представляли себе доиспанские Филиппины исключительно в рамках собственных социальных классификаций и категорий, тем самым буквально создавая объект своего внимания [Андерсон 2016: 271 и далее]. Миф о происхождении инков и сама идея наличия у них царей также могли возникнуть в результате переноса испанцами европейских династических моделей на государственное устройство Перу [Urton 1990: 6]. Роль войны в сложении мифов Англии была блестяще исследована Полом Фасселом [Фассел 2015] и Ангусом Колдером [Calder 1991].

<sup>3</sup> О роли языка и риторики в интерпретации и реконструкции Французской революции см. [Фюре 1998]. О роли памяти см. [Nora 1984–; Hutton 1991: 66].

«великого события», сколько его анализа. Ученые задаются вопросом, как подобные события получили свои кажущиеся самоочевидными значения, и даже более того — приобрели историческую важность в качестве реального прошлого<sup>4</sup>.

Повествование, язык и другие процессы создания смыслов считаются неотъемлемой частью этого преобразования. «Действия мятежника, кидающего камень, — утверждает историк Кит Майкл Бейкер в своем фундаментальном исследовании Французской революции, — не могут быть поняты в отрыве от символического поля, придающего им смысл, так же как и действия священника, поднимающего обрядовый сосуд». Эти процессы всегда масштабны и протекают одновременно на разных уровнях — архивном, символическом, политическом и идеологическом [Baker 1990: 13, 41]. Сама их жизнеспособность зависит от вовлечения людей в процесс фабрикации смысла, позволяющая участвовать в создании события.

Основополагающие мифы укрепляются в первую очередь за счет их рассказывания. Отказавшись от примитивного сравнения мифа с реальностью, современные исследования фокусируются на механизмах мифотворческого процесса, который позволяет отдельным людям или целым группам проживать миф, делая его неотъемлемым компонентом своей идентичности<sup>5</sup>. По словам изучавшего мифологию Генри Тюдора, миф «объясняет обстоятельства тех, к кому он обращен. Он помогает упорядочить их опыт и понять мир, в котором они живут. И делает это, представляя их нынешнее состояние как эпизод бесконечной драмы. [Это] не просто объяснение, это практический аргумент» [Tudor 1972: 139]<sup>6</sup>. Миф становится для людей источником знаний и форми-

<sup>4</sup> См. [Bouwisma 1981: 284–287; Бергер, Лукман 1995: 12–13].

<sup>5</sup> Способы вовлечения людей в систематическое и регулярное построение смыслов вокруг определенных событий рассматриваются Стюартом Холлом [Hall 1982: 56–90; Hall 1984: 3–17].

<sup>6</sup> Миф называли «коммуникативной системой» [Барт 2008: 265]. Правительства используют аналогичным образом «традицию» для легитимации идеологии или сохранения социальной и культурной иерархии; см. [Hobsbawm, Ranger 1983; Zipes 1993].

рует понимание событий прошлого. Как пишет социолог Ивона Ирвин-Зарецка, «то, как люди осмысливают прошлое — интеллектуально, эмоционально, морально — не сводится... к “истинности” их рассказов» [Irwin-Zarecka 1994: 15].

Повествование в том смысле, которое я использую в этой книге, дополняет подобную концепцию мифа; оно выражает идею процессуальности — истории, создаваемой в процессе рассказа и наполненной ощущением драматизма, логичности и стройности, которое присуще всем хорошим историям. Не сбрасывайте со счетов повествовательную форму как исключительно декоративную: она может стать инструментом, который придает истории смысл [Mink 1978: 131]. С помощью силы повествования прошедшие события складываются в осмысленные истории, последовательность и логику которых нелегко оспорить. Сама форма, говоря словами теоретика исторического повествования Хейдена Уайта, имеет содержание<sup>7</sup>. Кроме того, в отличие от мифа, она выдвигает на первый план рассказчика и аудиторию, а также их сложное взаимодействие.

### Октябрь и проблема легитимности

Миф об Октябрьской революции избежал подобного анализа: как ни одно другое государство XX века, Советский Союз был вовлечен в затяжную борьбу с Западом за свою легитимность — борьбу, которая обострилась во время холодной войны [Malia 1992: 9]. В то время как поколения советских и радикальных западных ученых и литераторов в 1930-х, 1960-х и последующие десятилетия прославляли Советский Союз как безусловную

<sup>7</sup> Нередко утверждается, что повествовательная форма побуждает ученых представлять полную и связную картину прошлого, при этом они не осознают, какую роль в этом играет их личное стремление к связности и полноте (см. [White 1987: 26–57; Harlan 1989: 592; Kellner 1989]). Сами того не замечая, историки скрывают свою роль в построении нарратива и таким образом только укореняют традиции повествовательной формы, считая, что им нужно просто слушать, пока история «рассказывается как бы сама собой» [Барт 2019: 363].

реализацию проекта современного государства, консервативные и открыто антикоммунистические исследователи обвиняли его в извращении этого проекта. Любой аспект советской истории рассматривался через призму (не)легитимности нового государства. Для одних советский социализм был, без сомнения, жестокой и суровой идеологией, однако смелые попытки впервые дать угнетаемым массам реальное влияние на ход человеческой истории придавали ему фундаментальную легитимность. По мнению сторонников и сочувствующих советскому проекту, этого удалось добиться прежде всего благодаря партийному аппарату: при всех своих недостатках он был прочно укоренен в тех слоях общества, от имени которых действовал<sup>8</sup>. Другие исследователи утверждали, что идеология и партия потеряли свою первоначальную легитимность после того, как жестокости Гражданской войны привели к политике централизации, бюрократизации, террора и принуждения, легших в основу сталинского государства<sup>9</sup>.

Были и те, кто считал идеологию социализма в корне ошибочной, а ее коллективистские притязания — обреченными на провал под грузом природного индивидуализма человека. Они объясняли страстную поддержку этой идеологии иллюзией, сном или чарами, от которых люди в конце концов очнутся. Монополистический, бюрократизированный и строго иерархический партийно-государственный аппарат, утверждали они, поддерживал незаконно захваченную власть элиты при помощи пропагандистской сети беспрецедентной мощности<sup>10</sup>. Партия и государство совершили, по словам историка Мартина Малиа, социалистический «Миф-Ложь» [Малиа 2002: 292]. Доказательством усилий по сохранению лжи служили тонны сухих шаблонных

---

<sup>8</sup> См. [Рабинович 1992; Рабинович 1989]. Советские историки одновременно превозносили Ленина и большевиков как превосходных организаторов и пропагандистов и в то же время утверждали, что решающим фактором в Октябрьской революции была несомненная привлекательность большевистской партии и ее политики. См. об этом [Kenez 1985: 3].

<sup>9</sup> См. [Hegelsen 1980; Fitzpatrick 1981: 1–35; Gill 1990].

<sup>10</sup> См. [Шапино 1975; Keep 1976; Brovkin 1998].



исследований советской истории и «обман» социалистического реализма<sup>11</sup>. Советская память была искажена, и один из ученых призвал восстановить «настоящую память России, а не мифологизированную подделку»<sup>12</sup>.

Сегодня ученые и Востока, и Запада все чаще представляют коммунистическую Россию как государство и общество, которые со временем безнадежно разошлись. Невзирая на возражения общества, государство, как утверждается, выступало от своего имени и в своих интересах на непонятном языке, который только отдалял население. Все больше исследований подробно описывают случаи сопротивления или оппозиции государству со стороны разных слоев общества с самого начала советской эпохи<sup>13</sup>. С их точки зрения советский коммунизм был пустой оболочкой, под которой народы Советского Союза занимались своими обычными делами. К этой историографической тенденции обратились многие государства бывшего советского блока [Watson 1994].

В основе отношения к фундаментальной легитимности или нелегитимности советского государства лежит взгляд на событие, которое оно провозгласило учредительным: Октябрьскую революцию. Советские историки описывали революцию, которая заложила прочную опору нового советского государства. Многие западные ученые писали о государственном перевороте, совершенном небольшой группой оппортунистов, который послужил шатким фундаментом для нелегитимного и аморального советского государства<sup>14</sup>. Как лаконично выразился историк Рональд

<sup>11</sup> См. [Brooks 1994: 978]. В своей речи на вручении Нобелевской премии 1970 года Александр Солженицын призвал коллег-писателей «победить ложь!» [Солженицын 1995–1997, 1: 24]. Исследование жанра соцреализма с учетом всех его особенностей см. в [Кларк 2002]. О профессии советского историка в первые годы ее существования см. [Barber 1981].

<sup>12</sup> См. [Hosking 1989: 118], а также [Brossat, Combe 1990].

<sup>13</sup> См. обзор этой тенденции 1930-х годов в западной историографии в [Viola 2002: 45–69], а также [Пушкарев 1998; Козлов 1999].

<sup>14</sup> См. [Pipes 1992: 3–4; Пайпс 2005]. Критику подхода Пайпса см. в [Kenez 1991: 345–351; Kenez 1995: 265–269].

Суни, эти западные ученые часто писали советскую историю в обратном направлении: от Большого террора до 1917 года, «чтобы понять, что пошло не так» [Suny 1983: 43]. Любопытно, что такой подход помог упрочить представление о Февральской революции как о спонтанном и бессистемном событии, настоящей революции, в сравнении с которой оценивалась нелегитимность Октября<sup>15</sup>.

Однако это не помогает нам понять то, что даже весьма критически настроенный ученый Франсуа Фюре назвал «всеобщим очарованием Октября» [Фюре 1998: глава 3]. Как и все основополагающие мифы, история Октября по определению является процессом *легитимации* и заслуживает пристального изучения в этом контексте, но она должна быть освобождена от смиренной рубашки дебатов о (не)легитимности. Способность Советской России «мифологизировать собственную историю» посредством подобных нарративов, добавляет Фюре, была одним из ее «величайших достижений» [Там же: 173]. Игнорирование мифотворчества не сделает Октябрь «нормальным» объектом научного исследования [Булдаков 1996: 179]. Скорее, наоборот: только изучение самого явления может дать представление о культуре, которая его породила, и о том, почему и как часть населения стала так глубоко идентифицировать себя с ним<sup>16</sup>. Такой анализ может выдвинуть на первый план как рассказчиков, так и содержание их рассказов; поможет определить не только уже существовавшие рассказы о революции, революционные сценарии, которые вдохновляли рассказчиков, но и идеологические про-

---

<sup>15</sup> Процессы осмысления Февральской революции исследовались многими учеными. Влияние внутрипартийной борьбы 1920-х годов и донесений царской полиции, как утверждается, помогло сохранить это представление о первой легитимной революции как среди западных, так и среди советских историков. См. [White 1979: 475–504; Longley 1992: 366]. Также см. [Melancon 2000].

<sup>16</sup> В этом ключе социалистическая культура Магнитогорска в 1930-е годы рассматривалась с точки зрения того, «что партия и ее программы... позволили осуществить, намеренно и ненамеренно», а не того, что они предотвратили [Kotkin 1995: 22]. Ср. [Falasca-Zamponi 1997].

блемы, возникшие в связи с попытками адаптировать или использовать эти сценарии для создания собственной истории об Октябре.

### Революционные сценарии

Русские революционеры использовали новое определение термина «революция», порывающее с традицией Просвещения: прежний акцент на разрушение и кровопролитие сменился современным значением, которое, по словам Бейкера, выражает «более глубокий процесс преобразования, совершенствование человеческого разума, часто определяемое такими позитивными терминами, как “juste”, “sérieuse”, “grande”<sup>17</sup>»<sup>18</sup>. Российские революционеры опирались на Французскую революцию, в ходе которой тысячи людей освоили новый революционный лексикон и сформулировали иные варианты политической деятельности, немислимые до 1789 года<sup>19</sup>. В XIX веке и позднее эта обновленная революционная традиция будет «переосмысляться каждым последующим поколением» [Parkhurst Ferguson 1994: 1]. «Большевики ведут свое происхождение от якобинцев, — пишет Фюре, — а якобинцы предвосхищают коммунистические идеи» [Фюре 1998: 16]<sup>20</sup>. Ряд ученых изучили влияние этой мифологии на формирование менталитета русских революционеров в позднимперский период, тщательно избегая укладывать события 1917 года в прокрустово ложе Французской революции<sup>21</sup>. Историк Тамара Кондратьева, несомненно, права в своем замечании, что в 1917 году трудно было найти русского революционера, который «не упоминал бы Робеспьера, Дантона, Вандею или Французскую

<sup>17</sup> «Справедливый», «серьезный», «великий» (фр.). — *Прим. пер.*

<sup>18</sup> См. [Baker 1994: 50]. О возникновении термина «революция» как обозначающего политическое и прогрессивное событие, см. [Rachum 1999].

<sup>19</sup> См. знаменитое исследование Линн Хант [Hunt 1984].

<sup>20</sup> См. также [von Borcke 1977].

<sup>21</sup> См. [Ильина 1994: 383–393] и [Shlapentokh 1999].

революцию в целом» [Кондратьева 1993: 200]<sup>22</sup>. Это был своего рода символический язык эпохи.

Однако к первому десятилетию XX века многие революционеры в России, и в особенности большевики, переключили внимание с Французской революции как буржуазного явления на Парижскую коммуну 1871 года как первую (неудавшуюся) попытку диктатуры пролетариата. Они представляли Парижскую коммуну как своего рода неполноценную революцию, нуждающуюся в завершении<sup>23</sup>. По мнению лидеров большевиков, она провалилась по причинам, которых следует избегать при подготовке их собственного переворота. Коммунары, как писал Ленин в статье «Уроки коммуны» из ссылки в Женеве в 1908 году, не смогли распознать тщательно срежиссированный «буржуазный “патриотизм”» Версаля, что отложило реализацию их истинных интересов, а именно освобождение рабочих от капитализма [Ленин 1967–1975, 16: 452]. Все еще находясь под чарами буржуазных идеалов Французской революции, утверждал он ранее, парижский пролетариат пытался оказать моральное влияние на своих врагов, вместо того чтобы уничтожить их. Буржуазная власть, заключал он, не поддается моральному воздействию, она должна быть уничтожена и заменена просветительской силой социалистической идеологии:

Но две ошибки погубили плоды блестящей победы. Пролетариат остановился на полпути: вместо того, чтобы приступить к «экспроприации экспроприаторов», он увлекся мечтами о водворении высшей справедливости в стране, объединяемой общенациональной задачей <...>. Вторая ошибка — излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался морально повлиять на них, он пренебрег значением чисто военных действий в гражданской войне и вместо того, чтобы решительным

<sup>22</sup> См. также [Vovelle 1994: 349–378].

<sup>23</sup> Существует мнение, что последующие поколения революционеров вкладывали в Парижскую коммуну надежды «на то, чем она могла бы быть» [Hutton 1981: 13].

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)